Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Преступление и наказание

<Фрагменты>

— Да-с, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнию. Очень, очень оригинально, но... меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намеком, неясно... Одним словом, если припомните, проводится некоторый намек на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут... то есть не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан.

Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи.

— Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что «заела среда»? — с каким-то даже испугом осведомился Разумихин.

— Нет, нет, не совсем потому,— ответил Порфирий.— Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные. Так у вас, кажется, если только не ошибаюсь?

— Да как же это? Быть не может, чтобы так! — в недоумении бормотал Разумихин.

Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть; он помнил свою статью. Он решился принять вызов.

— Это не совсем так у меня,— начал он просто и скромно.— Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно... (Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно.) Разница единственно в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы

необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна; я готов ее вам разъяснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками,— более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было напечатано и прочитано. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделения тут,

разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь,— смотря, впрочем, по идее и по размерам ее,— это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. (Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось.) Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее). Первый разряд всегда — господин настоящего, второй разряд — господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют, и — vive la guerre éternelle*,— до Нового Иерусалима, разумеется!

— Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?

— Верую,— твердо отвечал Раскольников; говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре.

— И-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытствую.

— Верую,— повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.

— И-и в воскресение Лазаря веруете?

— Ве-верую. Зачем вам все это?

— Буквально веруете?

— Буквально.

— Вот как-с... так полюбопытствовал. Извините-с. Но позвольте,— обращаюсь к давешнему,— ведь их не всегда же казнят; иные напротив...

— Торжествуют при жизни? О да, иные достигают и при жизни, и тогда...

— Сами начинают казнить?

---

* Да здравствует вековечная война (*фр.*).— *Ред.*

— Если надо и, знаете, даже большею частию. Вообще замечание ваше остроумно.

— Благодарю-с. Но вот что скажите: чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы поболее точности, так сказать, более наружной определенности: извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие?.. Потому, согласитесь, если произойдет путаница и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет «устранять все препятствия», как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут...

— О, это весьма часто бывает! Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего...

— Благодарю-с...

— Не стоит-с; но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть «обыкновенных» людей (как я, может быть очень неудачно, их назвал). Несмотря на врожденную склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, «разрушителями» и лезть в «новое слово», и это совершенно искренно-с. Действительно же новых они в то же время весьма часто не замечают и даже презирают, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, чтобы напомнить им свое место, но не более; тут и исполнителя даже не надо: они сами себя посекут, потому что очень благонравны; иные друг дружку эту услугу оказывают, а другие сами себя собственноручно... Покаяния разные публичные при сем на себя налагают,— выходит красиво и назидательно, одним словом, вам беспокоиться нечего... Такой закон есть.

— Ну, по крайней мере с этой стороны, вы меня хоть несколько успокоили; но вот ведь опять беда-с: скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, «необыкновенных-то» этих? Я, конечно, готов преклониться, но ведь согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а?

— О, не беспокойтесь и в этом,— тем же тоном продолжал Раскольников.— Вообще людей с новою мыслию, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений, должно быть, весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот,

разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным. Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы наконец, чрез какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить наконец на свет, ну хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою самостоятельностию рождается, может быть, из десяти тысяч один (я говорю примерно, наглядно). Еще с более широкою — из ста тысяч один. Гениальные люди — из миллионов, а великие гении, завершители человечества,— может быть, по истечении многих тысячей миллионов людей на земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть; тут не может быть случая.

<...>

— Ну-с, браните меня или нет, сердитесь иль нет, а я не могу утерпеть,— заключил опять Порфирий Петрович,— позвольте еще вопросик один (очень уж я вас беспокою-с!), одну только маленькую идейку хотел пропустить, единственно только, чтобы не забыть-с...

— Хорошо, скажите вашу идейку,— серьезный и бледный стоял перед ним в ожидании Раскольников.

— Ведь вот-с... право, не знаю, как бы удачнее выразиться... идейка-то уж слишком игривенькая... психологическая-с... Ведь вот-с, когда вы вашу статейку-то сочиняли,— ведь уж быть того не может, хе-хе! чтобы вы сами себя не считали, ну хоть на капельку,— тоже человеком «необыкновенным» и говорящим новое слово,— в вашем то есть смысле-с... Ведь так-с?

— Очень может быть,— презрительно ответил Раскольников.

Разумихин сделал движение.

— А коль так-с, то неужели вы бы сами решились — ну там, ввиду житейских каких-нибудь неудач и стеснений или для споспешествования как-нибудь всему человечеству — перешагнуть через препятствие-то?.. Ну, например, убить и ограбить?..

И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно,— точь-в-точь как давеча.

— Если б я и перешагнул, то уж, конечно бы, вам не сказал,— с вызывающим, надменным презрением ответил Раскольников.

— Нет-с, это ведь я так только интересуюсь, собственно, для уразумения вашей статьи, в литературном только одном отношении-с...

«Фу, как это явно и нагло!» — с отвращением подумал Раскольников.

— Позвольте вам заметить,— отвечал он сухо,— что Магометом иль Наполеоном я себя не считаю... ни кем бы то ни было из подобных

лиц, следственно, и не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил.

— Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? — с страшною фамильярностию произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное.

— Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? — брякнул вдруг из угла Заметов.

Раскольников молчал и пристально, твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уж и прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания. Раскольников повернулся уходить.

— Вы уж уходите! — ласково проговорил Порфирий, чрезвычайно любезно протягивая руку.— Очень, очень рад знакомству. А насчет вашей просьбы не имейте и сомнения. Так-таки и напишите, как я вам говорил. Да лучше всего зайдите ко мне туда сами... как-нибудь на днях... да хоть завтра. Я буду там часов этак в одиннадцать, наверно. Все и устроим... поговорим... Вы же, как один из последних, *там* бывших, может, что-нибудь и сказать бы нам могли...— прибавил он с добродушнейшим видом.